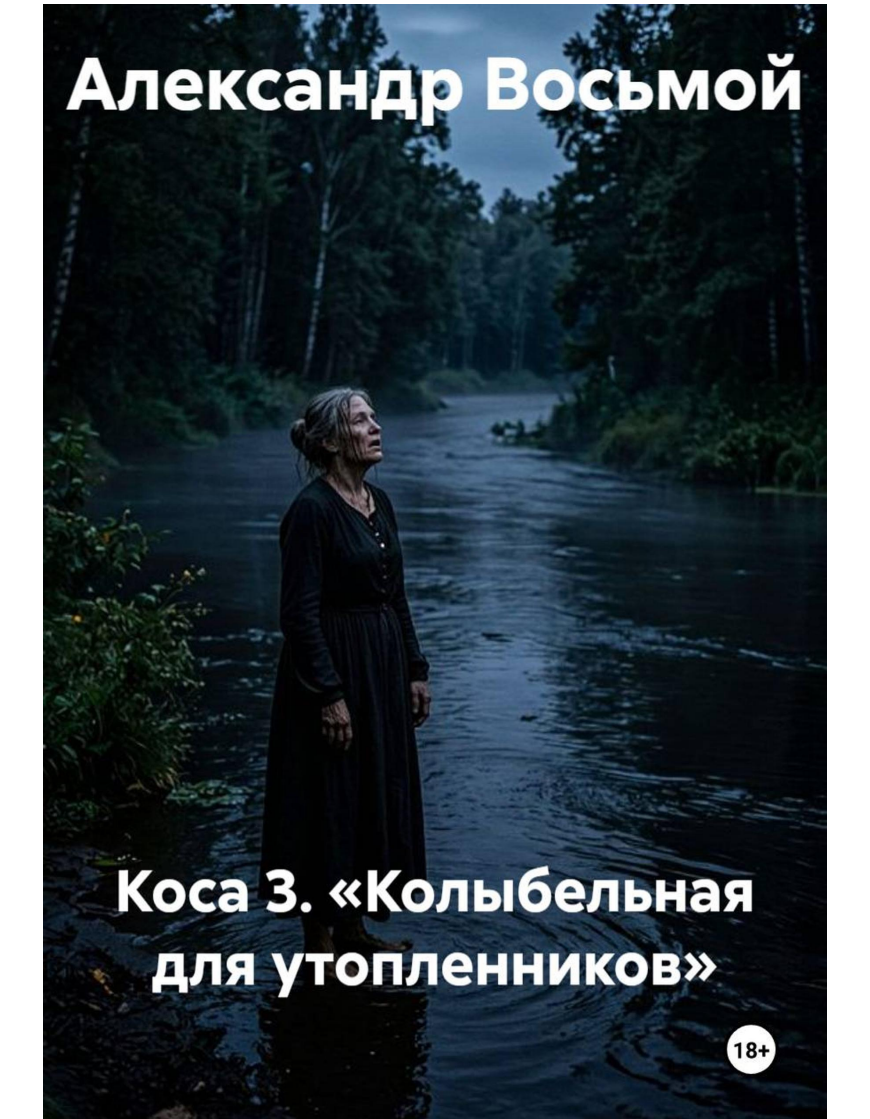


Александр Восьмой

A woman with grey hair tied back, wearing a long black dress, stands waist-deep in a dark river. She is looking upwards and to the right. The river is surrounded by dense green forest. The water is dark and reflects the surrounding trees. The overall mood is somber and contemplative.

Коса 3. «Колыбельная
для утопленников»

18+

Александр Восьмой

Коса 3. «Колыбельная для утопленников»

<https://litres.ru/74544493>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждый год, когда река разливается, в прибрежном селе поют колыбельную. Старухи говорят, что песня успокаивает тех, кого река забрала. Но в этом году вода отступила, а колыбельная не смолкла. По ночам она звучит из-под пола домов, из колодцев, из детских кроваток. И те, кто засыпает под неё, просыпаются с мокрыми волосами и землёй под ногтями — даже если рядом нет ни реки, ни дождя.

Александр Восьмой

Коса 3. «Колыбельная для утопленников»

Глава 1. Река, которая ушла не одна

Весна пришла как обычно — талый снег, чёрная вода, лёд по берегам. Старухи вышли на крыльца, запели колыбельную. Но река отступила на третий день, обнажив илистое дно, и песня, которой некого стало убаюкивать, осталась в воздухе. Впервые за триста лет некому было молчать в ответ.

В селе Бережные Луга это знали все: колыбельная — не для живых. Её пели, чтобы унять тех, кто ушёл под воду. Старуха Марфа, самая старая из певиц, сжимала в узловатых пальцах край шали и тянула низкий, тягучий мотив, от которого у молодых по спине бежали мурашки. «Не для ушей живых эта песня, — шептали в селе, — она для тех, кто под илом».

Но в этом году вода ушла, а песня — нет.

К вечеру первого дня, когда солнце провалилось за лес, колыбельная зазвучала снова. Только теперь она шла не с крыльца. Она выползала из-под половиц, вилась по углам, стучала в стёкла. К утру девочка Лика проснулась в своей кровати с мокрыми волосами, будто только что вынырнула из омута, а под ногтями у неё темнела влажная земля. Мать

закричала, бросилась к колодцу — вода в нём была густой, чёрной, как дёготь, и на поверхности плавали пряди волос, слишком длинные для человека.

На второй день старуха Марфа перестала петь. Она сидела на лавке, глядя в одну точку, и шептала: «Река не просто ушла. Она что-то привела с собой».

А ночью песня зазвучала из детской кровати, где спал годовалый Ваня. Он не плакал — он улыбался во сне, пока из-под матраса медленно проступала вода.

Село замерло. Люди перестали выходить после заката. Двери подпирали брёвнами, окна завешивали плотными тряпками, но песня находила щели. Она проникала сквозь стыки досок, сочилась из замочных скважин, шептала из темноты: «Спи... спи... мы рядом...»

К рассвету третьего дня в Бережных Лугах не осталось ни одного дома, где бы не слышали эту колыбельную. И ни одного ребёнка, который проснулся бы с сухими волосами.

Река ушла не одна. И теперь она возвращалась — капля за каплей, нота за нотой, сон за сном.

Глава 2. Полы, которые помнят

Кумысова Алёна проснулась от того, что под досками пола кто-то напевал. Мелодия была тягучей, старой, будто её выводили не голосом, а скрипом сырой древесины. Сначала Алёна решила — кошка. Потом — ветер в подполе. Потом опустила руку с кровати, и кто-то мокрый и холодный осто-

рожно дотронулся до её пальцев.

Она отдёргнула руку так резко, что ударилась локтем о спинку кровати. В комнате было тихо. Только где-то в углу капало — медленно, размеренно, будто отсчитывало секунды. Алёна зажгла керосиновую лампу, и свет выхватил из темноты тёмные разводы на половицах — будто по ним недавно протащили что-то тяжёлое и мокрое.

Утром она не помнила ничего. Только волосы были мокрые до самых корней, а на подушке лежали три тонкие пряди — чужие, тёмные, с редкими серебристыми нитями, словно седины вплелась в них задолго до смерти. Под ногтями темнела влажная земля. Алёна тёрла руки до красноты, но запах тины не уходил.

В избе старухи Марфы в тот день собрались все, кто ещё решался выходить из дома при свете дня. На столе стояла глиняная миска с солью, поверх неё — крест из лучины. Марфа сидела у печи, не глядя ни на кого, и водила пальцем по краю чашки, будто считала невидимые трещины.

— Полы помнят, — сказала она, когда Алёна заговорила про холодную руку. — Не просто доски. Они помнят каждый шаг, каждое слово, каждую слезу. А теперь они помнят и тех, кто под водой.

Соседский мальчишка Ванька, который накануне смеялся, что «всё это бабы сказки», вдруг втянул голову в плечи и прошептал:

— А у нас в сенях половица сама собой прогибается. Будто кто-то на неё наступает... а там никого нет.

К полудню по селу пополз слух: в доме у кузнеца ночью скрипнула лестница, хотя на втором этаже никто не жил уже десять лет. В избе у вдовы Ольги из подпола тянуло холодом, и на полу каждое утро появлялся мокрый след — узкий, изогнутый, как отпечаток босой ноги с неестественно длинными пальцами.

Алёна вернулась домой и встала у порога, прислушиваясь. Тишина была плотной, густой, будто её набили ватой. Но стоило ей сделать шаг, половица под ногой тихо застонала — не как дерево, а как живое существо, которому больно.

Тогда она заметила: доски не просто потемнели от сырости. На них проступали узоры — тонкие, извилистые линии, похожие на русло пересохшей реки. Они двигались. Медленно, почти незаметно, будто под деревом текла вода, которой не могло быть.

Ночью Алёна не легла в кровать. Она села у печи, завернувшись в старое одеяло, и держала в руке нож — не для защиты, а чтобы чувствовать, что у неё есть хоть что-то твёрдое. Песня пришла снова. Она не звучала словами — она была в скрипе, в шорохе, в том, как шевелились тени в углах.

И вдруг половица у двери приподнялась, будто её толкали снизу. Из щели потянуло сыростью и запахом мокрого камня. Алёна замерла, сжимая рукоять ножа так, что побелели костяшки.

Из темноты под полом раздался тихий, ровный голос — не человеческий, будто его формировали вода и ил:

— Ты слышишь нас? Мы не ушли. Мы здесь.

Алёна закричала. Но звук утонул в тишине, которая стала ещё гуще, ещё темнее. А когда рассвело, на полу у двери остался мокрый отпечаток — не её след. И не след человека.

Полы помнили. И теперь они хотели, чтобы вспомнили и живые.

Глава 3. Колодец

Колодезная вода всегда была горькой — старухи говорили, так река разговаривает с теми, кто пьёт. Но теперь в ведре плавали водоросли, которых в их колодце отродясь не бывало: тонкие, скользкие нити, сплетавшиеся в узоры, похожие на письма. А когда тёмной водой поливали пол, доски начинали петь — не скрипом, не стоном, а низким, тягучим напевом, от которого у людей сжималось сердце и холодели пальцы.

В тот день к колодцу пошла Марфа. Не за водой — за тишиной. Она надеялась услышать, как внизу, в глубине, шепчет земля, и понять, что ещё можно спасти. Ведро звякнуло о сруб, и эхо вернулось не сразу — будто кто-то внизу держал звук, пробовал его на вкус, прежде чем отпустить.

Когда Марфа подняла ведро, вода в нём была не просто чёрной — она казалась густой, почти живой. На поверхности

плавали не водоросли, а тонкие пряди, похожие на волосы. Марфа не стала трогать их. Она смотрела в ведро, и ей казалось, что вода смотрит в ответ.

— Ты не должна была приходить сюда одна, — раздался за её спиной голос. Это была Алёна, сжимавшая в руках старое полотенце, будто оно могло защитить от того, что поднималось из глубины.

Марфа не обернулась. Она знала: если повернуться, можно увидеть то, чего не должно быть у колодца в полдень.

— Вода теперь не просто вода, — прошептала старуха. — Она помнит. И она зовёт.

Алёна подошла ближе и заглянула в ведро. На миг ей показалось, что в глубине мелькают бледные лица — не человеческие, вытянутые, с глазами, похожими на пустые колодцы. Она отшатнулась, но Марфа схватила её за запястье — крепко, неожиданно сильно для своих лет.

— Смотри, — сказала старуха. — Не отводи глаз. Если отвернёшься, они поймут, что ты боишься. А страх — это дверь.

И тогда колодец заговорил. Не голосом, не словами — звуком, который шёл сразу отовсюду: из земли, из досок, из воздуха. Это была та самая колыбельная, только теперь она звучала иначе — глубже, тяжелее, будто её пели не люди, а сама вода.

Алёна почувствовала, как по спине ползёт холод, а волосы на затылке встают дыбом. Она хотела закричать, но голос за-

стрял в горле. Вместо крика с её губ сорвалось тихое, непроизвольное подпевание — один слог, потом второй. Марфа резко дёрнула её назад, вырвав из этого странного оцепенения.

— Никогда не подпевай, — выдохнула старуха, и в её глазах мелькнул настоящий ужас. — Если подпеёшь, они узнают твой голос. И придут за тобой.

Тем же вечером вдова Ольга вылила ведро колодезной воды на половицы, чтобы «смыть дурной след». Едва капли коснулись дерева, пол запел — и это был не чужой напев, а её собственная колыбельная, которую она пела сыну, когда тот был младенцем. Только теперь голос звучал не из её горла, а из досок, и пел он не о сне, а о воде, о глубине, о том, как приятно лежать на илистом дне и не думать ни о чём.

Ольга упала на колени, зажимая уши руками, но песня проникала внутрь — через кожу, через кости, через самое сердце. Она чувствовала, как её тянет вниз, к колодцу, к воде, к тишине, которая обещала покой.

А ночью колодец стал шептать. Он звал по именам. Сначала тихо, потом громче. Из его глубины поднимались голоса тех, кого река забрала за последние триста лет, — и теперь они хотели, чтобы их слышали.

На рассвете у сруба нашли мокрые следы — босые, с длинными пальцами, будто кто-то вышел из воды и остановился, прислушиваясь к селу. Следы вели к домам, к дверям, к окнам. И в каждом доме, куда они доходили, на полу просту-

пали тёмные разводы, а в углах слышалось тихое, настойчивое напевание:

— Спи... мы рядом... мы помним тебя...

Колодец больше не хранил воду. Он хранил голоса. И теперь он хотел, чтобы село научилось их слушать.

Глава 4. Дети, которых не будут

Первая не проснулась Митя Куликов — семь лет, русые волосы, щека на подушке. Мать нашла его утром: волосы мокрые, под ногтями чёрная земля, на губах улыбка. Он дышал, его глаза были открыты, но смотрели из-под воды. Так, по крайней мере, казалось матери. Она не могла оторвать его руки от подушки — пальцы вцепились намертво, будто он держался за что-то на дне.

— Митя! Митенька! — мать трясла его за плечи, тёрла щёки, подносила к носу горящую лучину. Мальчик не моргал. Глаза были открыты и влажные, как у рыбы, выброшенной на лёд. Зрачки расширились так, что радужка исчезла, — два чёрных провала, в которых, если наклониться близко, мелькало что-то серое, медленное, илистое.

Мать побежала за Марфой. Старуха пришла, ступила через порог — и остановилась. Её лицо, и без того бледное, стало серым, как пепел.

— Не трогай его, — сказала Марфа тихо, почти без голоса. — Он уже не там, где ты его ищешь.

— Где он?! — крикнула мать. — Где мой сын?!

Марфа не ответила. Она обошла кровать, заглянула Мите в лицо и медленно выпрямилась. Потом сняла с шеи медный крестик, положила мальчику на грудь. Крестик зашипел, будто уголь, брошенный в воду, и на коже остался красный след — ожог в форме креста, от которого Митя не дёрнулся. Ни звука. Ни вздоха. Только улыбка чуть расширилась, будто во сне ему было хорошо.

Марфа забрала крестик и спрятала его в ладони, будто обожглась сама.

— Он слушает, — прошептала старуха. — Не нас. Они поют ему, и он идёт.

— Кто — они?!

— Те, кому не спится на дне.

К полудню весть облетела Бережные Луги: Митя Куликов не проснулся. К вечеру — ещё трое. Лика, девочка, первой проснувшаяся с мокрыми волосами, теперь лежала с открытыми глазами и улыбалась тонкой, чужой улыбкой, которой у неё раньше не было. Годовалый Ваня, тот самый, из чьей кроватки ночью проступала вода, затих совсем — не плакал, не шевелился, только дышал, и с каждым вдохом из уголка его рта вытекала тонкая струйка мутной жидкости, пахнувшей тиной.

Четвёртым стал сын кузнеца — двенадцатилетний Гришка, крепкий, рыжеволосый, который смеялся громче всех и говорил, что «никакая бабья песня его не возьмёт». Его нашли в сарае, где он спал, спрятавшись от матери, запреща-

шей выходить после заката. Он лежал на земле, уткнувшись лицом в сырой грунт, и его пальцы, зарывшиеся глубоко в чёрную почву, судорожно сжимались и разжимались, будто он что-то искал под землёй. Или что-то его держало.

Алёна пришла к дому Куликовых, когда солнце уже садилось. В горнице пахло сыростью и чем-то сладковатым, нездоровым — будто гнили водяные лилии. Митя лежал на том же месте, в той же позе, с той же улыбкой. Мать сидела рядом, держа его за руку, и тихо раскачивалась, напевая. Алёна прислушалась и похолодела: женщина пела не колыбельную, которую знали все в селе. Она пела ту, новую — ту, что шла из-под пола, из колодца, из досок.

— Вы что делаете?! — Алёна вырвала женщину за плечо. — Вы же зовёте их!

Мать повернулась. Её глаза были сухими, пустыми, и в них не осталось ни страха, ни горя — только тёмная, бездонная тишина, как в колодце.

— Я не зову, — сказала она ровно. — Я отвечаю. Митя поёт оттуда. Он зовёт меня. Слышишь?

И Алёна услышала. Из уст мальчика, из его полуоткрытых губ, шёл звук — не голос, не шёпот, а что-то среднее, булькающее, влажное. Он пел. Не словами — звуками, которые складывались в мелодию, знакомую до ломоты в зубах, до слёз. Та самая колыбельная, но теперь она шла не из дома и не из колодца. Она шла из ребёнка. Как будто Митя стал колодцем — новым, маленьким, глубоким.

Марфа собрала всех, кто ещё мог ходить, в своей избе. Снаружи, за окном, в густеющих сумерках, по улицам бродили дети — те, кто уже несколько дней спал под чужую песню. Они шли босиком по холодной земле, не глядя под ноги, не замечая ни людей, ни собак, которые скулили и жались к заборам. Их глаза были открыты и темны. На губах у всех — одна и та же улыбка, спокойная, мокрая, безмятежная.

Их было семеро. Они шли к колодцу.

— Они не мертвы, — сказала Марфа, и её голос дрогнул впервые за все эти дни. — Они хуже. Их тела здесь. Но их сны — там, на дне. И то, что их убаюкивает, хочет, чтобы за ними пришли остальные.

Она посмотрела на Алёну долгим, тяжёлым взглядом.

— Река забирала по одному в год. А эта песня хочет забрать всех сразу. Не утопить — усыпить. Чтобы село заснуло и не проснулось. Триста лет колыбельная держала их на дне, не давала им подняться. А теперь кто-то открыл дверь с той стороны, и они хотят назад. Но не одни. С нами.

За окном дети остановились у сруба и запели. Их голоса слились в один — высокий, чистый, страшный. Песня поднималась в вечернее небо, и Алёна поняла: колыбельная больше не шла из-под пола и не из колодца. Теперь она звучала из детских горл, и в ней не было ни слов, ни жалости. Только зов. Только глубина. Только обещание тёмной, тихой воды, которая примет всех.

Марфа перекрестилась — не бельмом, а двумя пальцами,

по-старому, как крестились в этих краях до того, как пришли церкви.

— Завтра, — сказала она, — мы перестанем петь. Впервые за триста лет мы замолчим. И посмотрим, кто из них тогда запоёт громче.

Но ночью, когда село легло — кто с открытыми глазами, кто с закрытыми, — колыбельная вернулась. Она звучала из кроваток, где спали ещё не проснувшиеся дети. Из колыбелей, где лежали младенцы, которых ещё не назвали. И из тех углов изб, где пустовали кровати тех, кого ждали, но так и не родили.

Она пела не о том, кто уже ушёл. Она пела о тех, кого ещё не было. И звала их — по именам, которых не существовало — в воду, в тишину, в тёмный ил на дно, где так сладко спать и не просыпаться, и не думать, и не помнить, и не болеть, и не расти, и не жить.

Дети, которых не будут, уже слушали.

Глава 5. Книга песен

Свекровь Куликова Агафья принесла толстую тетрадь в кожаном переплёте. Сказала: колыбельная — не песня, а уговор. Каждый год реку просили не забирать детей весной, и река соглашалась, потому что песня была ей сладка. Но если реке больше не дают то, что она хочет, — она придёт сама.

— А что она хочет? — спросила Алёна.

Агафья не ответила. Перелистнула тетрадь — и на каждой

странице почерк был чужой, а последняя была мокрая, хотя тетрадь никогда не лежала у воды.

Агафья пришла на рассвете, когда над Бережными Лугами висел туман такой густой, что избы тонули в нём по самые крыши, и казалось, будто село стоит на облаке, а под ним — бездна. Она шла босиком, не пряча лица, и все, кто видел её в окно, отшатывались: Агафья не выходила из дома одиннадцать лет — с тех пор, как река забрала её младшую дочь. Говорили, она обезумела от горя. Говорили, она разговаривает с водой. Говорили, она знает то, чего не знают даже старухи-певицы.

Теперь она стояла посреди улицы, держа тетрадь обеими руками, и ждала.

Алёна вышла первой. За ней — Марфа, опираясь на палку, которую смастерила ночью из яблоневого ветки. Потом — кузнец, вдова Ольга, ещё несколько человек, тех, кто ещё мог спать с открытыми глазами и не подпевать.

Агафья молча положила тетрадь на перевернутое ведро у колодца и отступила. Кожаный переплёт был тёмным, потрескавшимся, с глубокими царапинами, будто его долго волочили по stones. На обложке — ни слова, ни знака. Только вмятина, ровная, круглая, размером с отпечаток мокрой ладони.

Марфа открыла тетрадь.

Первая страница была исписана мелким, аккуратным почерком — тонкие буквы, выведенные, кажется, гусиным пе-

ром, чернилами цвета ржавчины. Текст шёл без абзацев, без заголовков, строка к строке, и Марфа, склонившись, прочитала вслух первые слова:

— «В году от потопа седьмом, как река поднялась до окон, забрала она троих младенцев из люлек. Матери не плакали — не успели. Река вернула их на третий день, мокрых, тихих, с тиной в волосах. Но глаза у них были уже не те. Они смотрели сквозь людей, будто видели дно. И пели во сне».

Алёна почувствовала, как ноги становятся ватными. Она схватилась за край колодезного сруба.

— Дальше, — сказала Марфа, и голос её был сухим, как песок.

Вторая страница — другой почерк, крупнее, размашистее, будто писавший торопился или боялся. Третья — третий почерк, детский, неуверенный. Каждая страница принадлежала другому человеку, другому времени. Тетрадь была не книгой — она была свидетельством. Триста лет записей, триста лет уговоров, триста лет мольбы, вписанной в кожу и бумагу.

«Пели трёх ночей. Река убрала воду с полей, но оставила у двери. Уговор: не трогать детей до лет семи. Река молчала три дня и согласилась. Цена: одна песня каждый год, от старших женщин, от чистого горла, без слёз и без страха. Если певица заплачет — река услышит слабость и возьмёт вдвое».

«Год сорок первый. Пела Арина. Голос дрогнул на слове „спи“. Река забрала её корову и телёнка. Арина больше не

пела. Замолчала навсегда. Говорят, ослепла от того, что увидела в воде, когда наклонилась простить».

«Год сто двенадцатый. Пела Пелагея. Голос — чистый, сильный. Река взяла воду обратно. Но Пелагея после не могла спать. Говорила, что во сне слышит ответную песню — ниже, глуше, будто кто-то под водой подпевает ей в тон. Через месяц ушла из села. Вернулась через год — седая, беззубая, молчаливая. Никто не спрашивал, где была. Все знали».

«Год двести тридцатый. Пели вдвоём — Марфа и Устина. Устина не допела до конца. На последнем слове из-под пола поднялась вода — тонкая, как нитка, и обвилась вокруг её щиколотки. Устина замолчала и больше не произнесла ни слова до самой смерти. А под полом в её избе каждую ночь хлюпала вода — хотя река была в трёх верстах».

Алёна слушала и понимала: это не история. Это договор. Каждая запись — clause, условие, поправка к уговору, который люди заключили с тем, что жило в реке. И каждая запись — чья-то цена.

— А последняя? — спросила Алёна, указывая на мокрую страницу.

Марфа перевернула. И замолчала.

Последняя страница была написана не пером и не чернилами. Буквы проступали сквозь бумагу, будто выдавлены с обратной стороны, и они были не русскими, не славянскими, не никакими — это были знаки, похожие на русла пересохших рек, на трещины в илистом дне, на линии, которые про-

ступали на половицах. Они двигались. Медленно, как вода, просачивающаяся сквозь глину.

Но одно слово можно было прочесть — оно было написано поверх знаков, детским, неуверенным почерком, тем самым, что Алёна уже видела: в тетради, на третьей странице, в записи от года от потопа седьмом. Той самой рукой, что писала о трёх младенцах, вернувшихся с тиной в волосах.

Слово было: «Отдайте».

— Кто это написал? — прошептала Алёна. — Кто дописал в тетради?

Агафья молчала. Она стояла, глядя в землю, и по её щекам текли слёзы — не солёные, а прозрачные, без запаха, без вкуса. Она подняла руку, коснулась мокрой страницы, и бумага под её пальцами пошла рябью, как вода от брошенного камня.

— Это не я принесла тетрадь, — сказала Агафья наконец, и голос её был ровным, мёртвым. — Она пришла сама. Лежала у порога. Мокрая. А когда я открыла — последняя страница уже была заполнена. Не мной. Не людьми.

Марфа захлопнула тетрадь. Из корешка выдавилась капля — тёмная, густая, она упала на землю, и трава под ней почернела и свернулась, будто ошпаренная.

— Уговор был простым, — сказала Марфа, обращаясь не к Агафье, не к Алёне, а к тем, кто собрался вокруг, бледный и молчащий. — Мы поём — река не трогает детей. Мы даём песню — река даёт тишину. Триста лет. Но в этом году мы

не допели. Река ушла раньше, чем мы успели закончить. И теперь она считает, что уговор нарушен.

— Так допойте! — крикнул кузнец. — Спойте сейчас, что мешает?!

— Мешает то, — ответила Марфа медленно, — что допевать должна не я. Последнюю страницу дописала не human рука. Значит, и последнюю ноту должна спеть не human глотка.

Тишина повисла над селом, тяжёлая, как грозовое небо. Где-то в тумане, за избами, послышался плеск — будто кто-то шагнул в воду. Потом ещё. Ещё. Шаги, мокрые, медленные, — не от реки, а оттуда, где река когда-то текла, от обнажённого илистого дна, где три столетия спали те, кого убаюкивала колыбельная.

Агафья повернулась к туману. И запела.

Её голос был тонким, ломким, как лёд на последних лужах. Она пела не ту колыбельную, которую знали все, — слова были другие, старше, непонятные, и Алёна вдруг поняла: это не русский язык. Это даже не язык. Это было то, что звучало под водой, когда река ещё текла, — отзвук, эхо, ответ того, кто жил на дне и слушал.

Из тумана ответили. Сначала один голос — низкий, булькающий, как вода, идущая в горло. Потом второй. Потом третий. Десятки голосов, сотни, все те, кого река забрала за триста лет, — они поднимались из ила, из тумана, из мокрых страниц тетради, и пели с Агафьей в один голос.

Агафья не остановилась. Она пела, и слёзы текли по её лицу — прозрачные, безвкусные, водяные. Она знала: если заплачешь во время песни, река возьмёт вдвое. Но она плакала не слезами — водой. И река не могла взять вдвое то, что уже принадлежало ей.

Алёна стояла рядом с Марфой и слушала. Песня поднималась над селом, уходила в небо, и туман вокруг дрожал, будто от ветра, но ветра не было. И в этом дрожании Алёна увидела — или ей показалось — лица. Сотни бледных, вытянутых лиц, с глазами-колодцами, с ртами, полными тины. Они смотрели на село не с ненавистью и не с голодом. Они смотрели с тоской. С той самой тоской, что звучит в колыбельной, когда её некому спеть.

Агафья допела. Голос её оборвался на последнем слове, и она упала на колени, прямо в мокрую траву. Тетрадь лежала рядом, раскрытая на последней странице. Знаки на ней больше не двигались. Но мокрое пятно расползлось дальше — на обложку, на землю, на траву. И там, где оно касалось, всё становилось тихим, тёмным и влажным.

— Что теперь? — спросила Алёна.

Марфа подняла тетрадь, прижала к груди и сказала:

— Теперь мы знаем уговор. Но мы не знаем цену. Последняя страница не дописана. Кто-то должен дописать. И кто-то должен допеть. Не я. Не Агафья. А та, кого река уже слышала. Та, кто подпевала у колодца.

Она посмотрела на Алёну.

Алёна хотела сказать «нет». Хотела отступить, бежать, не оборачиваясь. Но из-под половиц, на которых она стояла, раздался тихий, знакомый напев — и ноги её не двинулись.

Книга песен была раскрыта. И последняя страница ждала.

Глава 6. Берег, который вернулся

Мужики пошли по речному руслу — посмотреть, куда ушла вода. Шли гурьбой, с фонарями и топорами, будто собирались не реку искать, а зверя загнать. Говорили: «Раз вода ушла — значит, где-то скопилась. Надо глянуть, не прорвёт ли дамбу, не смое ли огороды». Но в глубине души каждый понимал: дело не в огородах. Дело в том, что река ушла не по-людски — без грома, без треска льда, без обычного весеннего буйства. Ушла тихо. И тишина эта пугала сильнее любого наводнения.

Ил был тёплым, как тело. Это первое, что заметил кузнец, когда ступил на обнажившееся дно. Он остановился, наклонился, провёл ладонью по тёмной, вязкой глине — и отдёргнул руку, будто коснулся живого.

— Тёплый, — сказал он, оглядываясь на остальных. — Как будто под ним что-то дышит.

Остальные промолчали. Только скрипнули сапоги, вдавливаясь в ил, и этот звук был слишком громким в той тишине, что лежала на пересохшем русле.

Они шли три версты. Три версты по дну, где ещё неделю назад бурлила вода, а теперь остались только мокрые камни, пустые раковины и странные полосы на глине — будто кто-

то волок по дну что-то тяжёлое, оставляя за собой не след, а рану.

А потом они нашли берег, которого не было на памяти ни одного старика.

Он стоял поперёк русла — невысокий, но крутой, словно волна застыла и окаменела. Глина на нём была свежей, мокрой, будто её только что вылепили. На склоне отпечатались маленькие следы — десятки, сотни, босые ноги, все в сторону села. Следы были не детскими и не взрослыми — они были неправильными: пальцы длинные, изогнутые, а пятка почти не отпечатывалась, будто те, кто шёл, не наступали всей стопой, а скользили, цепляясь за глину.

Один из мужиков, молодой парень по имени Тихон, наклонился и провёл пальцем по следу.

— Это не человек, — прошептал он.

— Не каркай, — буркнул кузнец, но голос его звучал неуверенно.

Тихон поднял голову и вдруг замер. Его лицо стало серым, как глина под ногами.

— Слышите? — спросил он.

Все замерли. И услышали.

Из-под берега, из самой глины, шёл звук — тихий, ровный, будто кто-то напевал под землёй. Колыбельная. Та самая. Но теперь она звучала не как песня, а как пульс. Как дыхание чего-то огромного, что лежало под берегом и ждало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.